



В. БРАНДТ

<Из воспоминаний>

Старик с берегов Рейна

<...> На рубеже пятидесятих и шестидесятих годов не было недостатка в проектах по преодолению тягостного положения с разделом Германии. СДПГ и СвДП¹ опубликовали в марте 1959 года планы по Германии, цель которых состояла в осуществлении поэтапного воссоединения путем переговоров между четырьмя державами и обоими германскими государствами. Я не нашел в них должного реализма. И имя мое никогда не употреблялось в связи с этими документами. В конце июня 1960 года Герберт Венер, заместитель председателя партии и председатель парламентской фракции, положил им же самим разработанный план по Германии под сукно и произнес в бундестаге пламенную речь, в которой он, к немалому удивлению своих ближайших боннских сподвижников и даже председателя партии, заявил: СДПГ, безусловно, признает тесную связь с Западом в качестве основы будущей внешней и межгерманской политики. Я сам за год до этого разработал целый список вопросов, по которым, как я полагал, мы придерживаемся единого мнения с другими партиями. Мой друг Фритц Эрлер представил эти краткие выводы в бундестаге, что, однако, не дало ощутимых результатов.

Могло ли что-то измениться, если бы состоялся серьезный и откровенный разговор между Конрадом Аденауэром и Никитой Хрущевым? Этот вопрос я должен, соблюдая соответствующую дистанцию, задать и самому себе. Ибо советский руководитель предложил в 1959-м и в 1963 году принять меня в Восточном Берлине, так же как он в 1962 году изъявил желание встретиться с Аденауэром.

Когда наметился визит Хрущева в Бонн, Аденауэр как раз ушел в отставку. Зять кремлевского руководителя Алексей Аджубей, в то время главный редактор газеты «Известия», в 1964 году при-

ехал в Бонн. Я встречался с ним наедине и в окружении консервативно настроенных редакторов, пригласивших его. Казалось, ничто не препятствует визиту Хрущева в Бонн. Эрхард был готов с удовольствием его принять. Однако в октябре время правления крижистого Никиты Сергеевича истекло. Намерение нанести визит в Западную Германию было одним из звеньев в цепи событий, приведших к его свержению. Ошибки во внутренней и внешней политике, включая бряцание ядерным оружием во время кубинского кризиса, составили другие звенья. Последний толчок, очевидно, дали жалобы руководства ГДР на Аджубея и его сентенции по поводу воссоединения. В 1965 году приглашение было повторено, однако Косыгин и Брежнев не проявили к нему никакого интереса.

То, что моя встреча с Хрущевым не состоялась, было не столь важно. Во время обострения обстановки вокруг Берлина он спорил со мной еще больше, чем я с ним. Его, безусловно, искренние, но недостаточные усилия по преодолению извращений сталинизма соединялись со склонностью к хвастливой болтовне, и не в последнюю очередь по отношению к городу, в котором я был бургомистром. Мои русские друзья рассказывали мне потом, что как раз в 1961 году, во время строительства стены, в его репертуаре появилась новая антисталинистская «пьеса». Я иногда вспоминаю тот вечер, когда я в присутствии американских журналистов смотрел телевизионную передачу из Москвы. Хрущеву казалось, что он сможет вызвать интерес аудитории следующим «разоблачением»: фамилия Брандт переводится на русский язык как «пожар». Это не помешало ему вскоре после этого проявить заинтересованность во встрече со мной. Смог бы я отговорить его от осуществления бессмысленного проекта постройки стены? Я в этом сильно сомневаюсь. Тем не менее спустя короткое время я понял, что допустил ошибку, уклонившись от этой, а затем и от возможной второй встречи с ним.

В марте 1959 года, возвращаясь самолетом из Индии, я сделал остановку в Вене. Мой друг Бруно Крайский, в то время еще статс-секретарь в министерстве иностранных дел, встретил меня в аэропорту Швехат и передал приглашение Хрущева посетить его в Восточном Берлине. Точнее говоря, выражалась готовность принять меня там. Делать вид, что тот, кого ты хочешь принять, сам напросился на прием, — это старинная русская традиция.

Подоплека данного приглашения заключалась в том, что Бруно Крайский в одной из своих лекций поделился мыслями вслух об особом статусе Берлина — всего Берлина: Советы решили, что за его спиной стою я, и передали Крайскому просьбу побудить меня в личной беседе как можно скорее встретиться с Хрущевым.

Я просил передать, что в принципе готов к этому, но должен предварительно проинформировать союзные державы-гаранты и федерального канцлера.

Аденауэр высказал мнение, что я должен все взвесить и сам решить, принять мне или отклонить советское предложение. В Берлине американский посланник в необычно резкой форме наложил вето на предполагаемую встречу. Его поддержал член сената Гюнтер Клейн, с которым я был в близких отношениях. К тому же советская сторона разгласила связанную с этим информацию, извратив и сократив ее. В таком виде она стала достоянием общественности. Я использовал это как повод для отказа. Мой друг Крайский, оказавшийся по отношению к русским в затруднительном положении, был весьма разочарован — он слишком много на себя взял.

Эрих Олленхауэр независимо от меня воспользовался возможностью встретиться с Хрущевым в Восточном Берлине, но результатов это не дало. В том же марте 1959 года Карло Шмид и Фритц Эрлер посетили советскую столицу и вернулись оттуда абсолютно ни с чем. Ибо на вопрос, можно ли вести разговор о шагах, ведущих к германскому единству, им ответили категорически нет. Перед их отъездом сам Хрущев — явно в мой адрес — заявил, что для Западного Берлина Федеративная Республика должна стать заграницей. Оба моих друга были разочарованы, Карло еще больше, чем Фритц, так как осенью 1955 года он сопровождал Аденауэра в его поездке в Москву и заслужил большое уважение Никиты не только за свою откровенность, но и за способность (после изрядной дозы рыбьего жира) совершенно не пьянеть. Умение пить, а также тучность Шмида дали Хрущеву основание величать его не иначе как «господин Великая Германия». У себя в стране ему пришлось довольствоваться прозвищем «Монте-Карло».

Почти четыре года спустя, в январе 1963 года, последовало, так сказать, второе приглашение. Кремлевский руководитель прибыл в Берлин для участия в работе съезда СЕПГ. Через сотрудника советского посольства в Восточном Берлине и двух аккредитованных в Западном Берлине генеральных консулов — австрийского и шведского — он дал мне знать, что готов принять меня для беседы. На этот раз, после возведения стены и именно из-за нее, мне казалось, что есть все основания принять приглашение. Я вновь позвонил федеральному канцлеру. Аденауэр и на этот раз предоставил мне свободу действий. Он считал, что подобная беседа не принесет ни пользы, ни вреда.

Совсем по-другому повел себя Райнер Барцель, ставший впоследствии моим оппонентом не только во время парламентской

борьбы вокруг Восточных договоров. Тогда он был министром по общегерманским вопросам. Его звонок из Бонна выдавал легкое волнение. Он настоятельно советовал мне отказаться от этой идеи, ссылаясь при этом на видного социал-демократа: «Господин Венер рядом со мной, и он разделяет мое мнение». Министерство иностранных дел вместо совета дипломатично уклонилось. Консультации с союзниками картину не прояснили. Я хотел позвонить Кеннеди, но новый американский посланник мне отсоветовал это делать. Решающим оказалось мнение моего партнера по берлинской коалиции. Мой заместитель, бургомистр Амрэн, заявил на чрезвычайном заседании сената совершенно официально, хотя и при сдержанном одобрении некоторых коллег из ХДС, что, если я соглашусь на встречу с Хрущевым, его партия выйдет из коалиции. Берлин, сказал он, не имеет права проводить собственную внешнюю политику. В этой ситуации я пришел к выводу, что следует все же отказаться от встречи. Мне казалось нецелесообразным идти на контакт с сильным человеком из Москвы, имея за своей спиной расколотый сенат. Кроме того, вскоре предстояли выборы. Поступи я иначе, мне не удалось бы выиграть их с таким преимуществом.

Я понимал, что мой отказ заденет Хрущева за живое. Петр Абрасимов, советский посол в Восточном Берлине, рассказывал мне после наступления «оттепели», как это ошеломило его «большого хозяина». Когда Абрасимов сообщил ему о моем решении, он как раз переодевался. С него чуть не свалились брюки. Позднее, в 1966 году, Абрасимов добавил к этому, что это был упущенный шанс: Хрущев якобы хотел мне «что-то вручить». Однако тот же Абрасимов в своей книге о переговорах по Берлину в 1970–1971 годах заметил, что встреча Хрущева с Брандтом, если бы она состоялась, «не привела бы к урегулированию западноберлинской проблемы».

Время сделало вопрос о возможных результатах переговоров бессмысленным. Однако историческая справедливость требует признать, что мое тогдашнее решение было ошибочным. Упустив возможность на высоком уровне обсудить неясные вопросы, я поступил неразумно. Аденауэр не стал бы ломать голову. После своего посещения Москвы он почти не ставил под сомнение сказанное Хрущевым и Булганиным. Как он писал, у него было «предчувствие, что, возможно, в один прекрасный день мы вместе с людьми из Кремля сможем найти решение наших проблем». В дополнение к этому в конце своей жизни он настойчиво указывал на то, что нам необходимо привести в порядок наши отношения с великим восточным соседом! <...>

Громкие слова, малые шаги

В августе 1961 года раскол Берлина был отлит в бетоне — вопреки закону жизни города, вырастившего не одно поколение, и, как я был убежден, вопреки ходу истории. 25 лет спустя Рональд Рейган заявил в Вашингтоне, что, если бы он был в то время президентом, он приказал бы снести стену. Когда один американский журналист спросил меня 13 августа 1986 года в Берлине, что я об этом думаю, я отказался от какого-либо комментария. Почему же я счел неуместным вступать по этому поводу в Берлине в полемику с президентом США? Мне пришлось бы тогда спросить, какие военные меры он рассчитывал бы предпринять. Ввод войск? С какой целью и какой ценой? Громкими словами после того, что произошло, нельзя было ровным счетом ничего добиться. Конечно, Рейган публично призвал Горбачева уничтожить стену. Но во время переговоров со своим русским партнером он сделал упор на другом и никоим образом не подверг сомнению закрепленный в 1945 году в Ялте раскол Германии². Я не стал с ним из-за этого спорить.

Берлин в конце войны получил четырехсторонний статус и должен был управляться совместной комендатурой держав-победительниц. Однако права и обязанности четырех держав были недостаточно четко сформулированы — о будущих правах немцев в то время, разумеется, не задумывались. В принципе, каждый комендант должен был управлять своим сектором по своему усмотрению или по велению своего правительства. В 1948 году Советы покинули совместную комендатуру, и в том же году по их приказу из Старой ратуши в восточном секторе были изгнаны избранные населением общегородские власти: городская палата депутатов и магистрат. Все руководящие должности в советском секторе получили нужные русским люди. Позднее так называемый четырехсторонний статус (от которого уже в 1948 г. почти ничего не осталось) был использован для того, чтобы завуалировать политическое ничегонеделание. В Бонне культ статуса и намерение сохранять раскол были особенно тесно связаны друг с другом.

Меня часто спрашивали: когда я, бургомистр, узнал о предстоящем возведении стены? И что я против этого предпринял? Мой ответ гласил: я опасался, что доступ из ГДР в Восточный Берлин будет затруднен, а пропускные пункты оттуда в Западный Берлин в основном перекрыты. Тенденцию к такого рода развитию можно было предвидеть, но нельзя было определить, когда и в какой форме это произойдет. Иначе я бы не оказался в субботу 12 августа в Нюрнберге, где должен был состояться массовый митинг, открывающий кампанию перед выборами в бундестаг.

По пути в Нюрнберг в пятницу я остановился в Бонне и в серьезной беседе с министром иностранных дел в последний раз безуспешно попытался побудить его расширить тему выступления, включив весь берлинский вопрос. Выступая в Нюрнберге на Марктплатц, я пытался объяснить причины обострения обстановки: страх наших земляков в зоне, что их отрежут, оставят в одиночестве и изолируют, привел к драматически быстрому росту числа беженцев.

Начиная с 1945 года восточную зону, а впоследствии ГДР покинули почти три миллиона человек. В первой половине 1961 года насчитывалось 120 тысяч беженцев. Однако после неудавшейся венской встречи Кеннеди и Хрущева в июне 1961 года этот поток превратился в массовый исход. В июле бежали на Запад 30 тысяч человек. Только 12 августа в Западный Берлин прибыли две с половиной тысячи наших земляков. Это, как мы тогда говорили, массовое «голосование ногами» вряд ли было приемлемо для другой стороны. Возникла угроза, что в ГДР никого не останется. Казалось, что за ужасным возгласом «Народ без пространства» вскоре последует — «Государство без народа». Для меня не было неожиданностью, что Советы и немецкие коммунисты предпримут все возможное, чтобы воспрепятствовать массовому бегству на Запад. Но я не предполагал, что Восточный Берлин замуруют, а проходящую через город демаркационную линию оденут в камень. Мы забыли или вытеснили из нашего сознания план, предложенный в 1959 году. В то время ходили слухи, что восточно-берлинский бургомистр Эберт, сын первого президента Веймарской республики, настаивал на сооружении «китайской стены», но натолкнулся на советское вето. Проект, разработанный, как говорили, под руководством Эриха Хонеккера, попал в долгий ящик, из которого его снова извлекли в 1961 году.

Я не скрывал своих опасений, а старался довести их до сведения союзников, федерального правительства и более осторожно — до общественности. В тот день, 11 августа, когда в народной палате ГДР было объявлено о мерах против «торговцев людьми, вербовщиков и саботажников», я настойчиво предупреждал федерального министра иностранных дел Генриха фон Брентано об опасности жесткой блокады: вероятно, власти ГДР, говорил я, следуя инстинкту самосохранения, обратятся к вышестоящим советским органам с настойчивой просьбой дать свое благословение на принятие крайних мер. Я не подозревал, что к тому времени Советский Союз уже давно дал Ульбрихту «зеленый свет» на проведение полной изоляции. Этот сигнал он получил от Советского Союза и других стран Варшавского пакта на совещании стран Восточного блока, проходившем 3–5 августа 1961 года в Москве.

Лишь позже мне стало известно, что этому предшествовало: в середине марта 1961 года Ульбрихт потребовал от пленума ЦК своей партии принятия самых решительных мер, сообщив, что он обратится непосредственно к кремлевскому руководителю. Я знал, что советский посол в Бонне вручил 17 февраля федеральному канцлеру два документа, касавшихся Западного Берлина и заключения мирного договора, которым нам угрожали. Если договор с ГДР не будет принят, говорилось в этих документах, а оккупационный режим в Западном Берлине ликвидирован, придется считаться «со всеми вытекающими отсюда последствиями». Американцы совершенно правильно оценили эту угрозу: после ультиматума 1958 года огонь берлинского кризиса никогда полностью не угасал. В 1959–1960 годах он почти потух, но затем вспыхнул с новой силой.

В конце марта заседал Политический консультативный комитет стран Варшавского пакта. На нем Ульбрихт изложил, почему усиленный пограничный контроль и проволочные заграждения недостаточны, а необходимы бетонная стена и частокол. Никто его толком не поддержал, но и никто особенно не возражал. Хрущев вел себя сдержанно. Тем не менее глава СЕПГ после этого совещания почувствовал себя настолько уверенным, что по возвращении он поручил Эриху Хонеккеру — ответственному за национальную безопасность — позаботиться о стройматериалах и рабочей силе, сохраняя при этом секретность и максимальную осторожность. 15 июня на пресс-конференции прозвучали слова Ульбрихта: «Никто не собирается возводить стену».

Через несколько лет мне передали, что Хрущев на том совещании согласился только на проволочные заграждения, а стену следовало воздвигнуть лишь после того, когда станет ясно, как на это отреагирует Запад. Строительство стены и в самом деле началось лишь 16 августа, а 13-го речь еще шла о проволочных заграждениях на бетонных столбах, отгораживавших восточный сектор от Западного Берлина.

Мы оказались абсолютно неподготовленными. Когда это случилось, нам поначалу не пришло в голову ничего лучшего, чем твердить: «Стена должна исчезнуть!» Контрмеры, которые могли бы привести к каким-то результатам, у западных держав интереса не вызывали. Назревала угроза глубокого кризиса доверия. То, что для берлинцев было днем ужаса, должно было объективно стать для правительств западных держав днем облегчения, ибо их права, касавшиеся Западного Берлина, остались неприкосновенными, и опасность войны была устранена.

Почему же не признать открыто и прямо: так же как и многие мои сограждане, я был разочарован тем, что Запад оказался не-

способным, не пожелал или, во всяком случае, не смог, ссылаясь на столь часто цитируемый четырехсторонний статус, проявить инициативу, которая избавила бы Германию и Европу от этого монстра — «стены позора». В те дни не было ни времени, ни желания, чтобы поставить себя мысленно на место восточной стороны и правильно оценить слова Хрущева о том, что стена — это вынужденное решение, поспешная акция по спасению ГДР. Осенью 1961 года Никита Хрущев спросил посла Кроля, что ему, собственно говоря, оставалось делать при таком количестве беженцев? Германский посол ответил буквально следующее: «Я знаю, что стена — это безобразное дело. И в один прекрасный день она исчезнет... но только тогда, когда отпадут причины, ее породившие».

Лишь впоследствии многим, хотя и не очень многим, немцам стало ясно, что от Америки, от западных держав вообще нельзя было ожидать больше того, что они обещали, выходя за рамки и без того непрочных четырехсторонних правомочий. Это были три существенных условия, за необходимость соблюдения которых Совет НАТО высказался на своей весенней сессии 1961 года в Осло: присутствие, свобода доступа, жизнеспособность. О Берлине как единой городской общине речь при этом не шла, а Джон Кеннеди, встретившись в июне 1961 года в Вене с главой Советского Союза, ничего не говорил о Восточном Берлине. То, что он ограничился Западным Берлином, собственно и явилось «уступкой» Запада. Когда Кеннеди в то кризисное лето, а именно 25 июля 1961 года, обратился с речью к американской и международной общественности, в Москве из этого сделали правильный вывод, что американские гарантии кончаются на секторной границе. Президент же, как свидетельствуют его сотрудники, наоборот, считал, что Хрущев «пошел на уступки». Зачем ему понадобилось соглашаться на возведение стены, если он намеревался захватить весь Берлин? Советская сторона еще в апреле 1961 года перед венской встречей в верхах повторила берлинский ультиматум и пригрозила заключить сепаратный мирный договор. После этого обе стороны заговорили о возможном сползании к ядерной войне. Артур Шлезингер, доверенное лицо Кеннеди, вспоминает: «В то лето он вряд ли думал о чем-либо ином».

Во время заключительной беседы в Вене американский президент заявил: то, что произойдет с ГДР, — это дело его визы. США якобы не могут и не хотят вмешиваться в решения Советского Союза, принимаемые им в «сфере своих интересов». Сенатор Фулбрайт в конце июля высказал в одном из телеинтервью то, что было в мыслях у Кеннеди: он-де не понимает, почему власти ГДР не закроют границу с Западным Берлином — ведь они имеют на это

полное право. Правда, после того как в прессе поднялся шум, он взял свои слова обратно, но слово не воробей...

Выяснилось, что союзники дрожали от страха в предчувствии ложного кризиса. То, что для нас в Берлине явилось чудовищным потрясением и тяжелым испытанием для всей страны, они восприняли как облегчение или, по крайней мере, как меньшее зло. Ни западноевропейские державы, ни американцы не взяли на себя обязательств по обеспечению права свободного передвижения в разделенной Германии. Они не чувствовали себя ответственными за судьбы тысяч разделенных семей, а кое-кому из официальных лиц на Западе, наделенных правом принимать решения, не чуждо было даже некое сочувствие русским. И вот из уст столь уважаемого и влиятельного человека с богатым жизненным опытом, как выше упомянутый сенатор Уильям Фулбрайт, мы услышали, что, хоть русские действуют и грубо, все же можно понять их желание навести порядок в своей сфере влияния в Германии.

Шел разговор о контрмерах. Но против чего их следовало бы направить при существующем раскладе сил и интересов? Только против передачи советской стороной ГДР полномочий, которыми она на основании четырехстороннего статуса должна была воспользоваться сама? А какие из этого следовало сделать выводы? Реакция на возведение стены представляла собой неприятную смесь бессильной злобы и бесплодных протестов. Определенное значение имел известный блицвизит вице-президента Линдона Джонсона в конце недели, последовавшей за 13 августа. <...> Джонсона сопровождали эксперт по восточным делам посол Чарльз Болэн и друг Берлина Люциус Клей, вынужденный впоследствии покинуть город. Он оставался в нем до весны 1962 года в качестве специального уполномоченного президента. Главное послание, которое должен был передать мне Чарльз Болэн, гласило: если я сочту нужным что-то критиковать, мне лучше позвонить президенту, а не писать ему письма.

Что я предложил? Я считал, что не следует ограничиваться тремя условиями. Гарантии, касавшиеся союзных войск, их присутствия, обеспечения, доступа к городу, а также его «жизнеспособности», не могли быть достаточными уже хотя бы потому, что в воздухе повисал вопрос: смогут ли сами немцы попадать в город свободно? Было также неясно, будет ли жизнеспособность Западного Берлина связана с его принадлежностью к правовой и экономической структуре Федеративной Республики? Впрочем, каждый, имевший глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, понимал, как интерпретировались основные условия. Советская сторона могла делать с Восточным Берлином все, что ей заблаго-

рассудится, а также передать свои права руководству ГДР. Именно это и произошло, причем с прямого благословения Бонна. После того как Аденауэр 16 августа (в тот же час, когда я собрал берлинцев перед ратушей на массовый митинг протеста) принял посла Смирнова, он велел предать гласности факт достижения согласия «о нерасширении объекта спора». Посол передал, что советские меры не направлены против Федеративной Республики, на что канцлер ответил, что федеральное правительство не предпримет никаких шагов, которые могли бы осложнить отношения с Советским Союзом и ухудшить международную обстановку.

До возведения стены мои советы союзникам и федеральному правительству всегда были направлены на то, чтобы расширить и по возможности изменить трактовку темы Берлина. Я считал: почему бы не начать переговоры о воссоединении Берлина? Почему не принять советские предложения о созыве мирной конференции по Германии? Почему, если уж так необходимо сузить тематику, не провести референдум среди западных берлинцев по вопросу уровня связи их города с Федеративной Республикой? О проблеме «Берлина в целом» никто и слышать не хотел. Мышление шло по хорошо наезженной колее, свернуть с которой так быстро не представлялось возможным. Вероятно, на Востоке тоже сидели на мели. По крайней мере, информаторы намекали на некоторую заинтересованность советской стороны. Вариант с референдумом, обсуждавшийся Аденауэром с американцами, имел одну опасную загвоздку: федеральный канцлер хотел одновременно поставить на голосование вопрос о том, хотят ли (западные) берлинцы сохранить присутствие в городе державы-гаранта (а формально — оккупационной власти). По моему же мнению, об этом нельзя было говорить хотя бы по той причине, что это было бы нарушением этикета. Темой для обсуждения должна была быть только принадлежность к федерации.

Я никогда не мог понять, почему Бонн — и союзные блюстители статуса — боятся ООН. То, что я сказал в бундестаге 18 августа после возведения стены, я говорил и раньше: «Нельзя на случай мирового пожара припасти для себя путь отступления к всемирному форуму». Но предметом серьезного обсуждения не стал ни один вопрос, способный хоть как-то расширить данную тему. Проводя время в политическом безделье и проигрывании старых юридических пластинок, они готовились к кризису, который-таки не разразился, не зная, как справиться с тем, который действительно надвигался.

Кризис, который не наступил, был вызван сепаратным мирным договором и присутствием гарнизонов западных союзников. Это

породило бы опасность войны. Мне не удалось выяснить, что было известно союзническим разведслужбам. От соответствующих немецких органов ни в тот момент, ни после я также не получил никаких ценных сведений. Тот факт, что утром 14 августа на письменном столе начальника канцелярии сената Генриха Альбертца лежало сообщение федеральной разведывательной службы от 11-го: «никаких чрезвычайных происшествий», я все еще воспринимаю как злую шутку...

Разведслужбы Запада дали себя провести. А может быть, интересные детали уплыли из-за того, что был «уик-энд», или по другой какой причине? Может, их расценили как «служащие интересам разрядки», ибо они предвещали событие, о последствиях которого союзническим властям не следовало особенно беспокоиться, во всяком случае не так сильно, как немецким семьям? Один из близких сотрудников Кеннеди, ответственный за его распорядок дня, П. О'Доннел констатировал по прошествии определенного времени, что американские секретные службы, «так же как соответствующие службы всех других западных государств», сработали не очень удачно и Кеннеди был этим «страшно недоволен». От О'Доннела стало также известно, как реагировал на это Кеннеди: Хрущев «уступил», так как, если бы он хотел захватить весь Берлин, он бы не стал строить стену. Тэд Соренсен, блестящий «спичрайтер»* президента, донес до нас тогдашнюю оценку ситуации американской разведывательной службой: коммунисты постараются поставить под свой контроль потери в рабочей силе. Специального предупреждения о предпринимаемых мерах, как подтверждает Соренсен, не поступало.

Я никогда не был высокого мнения о людях, делающих вид, что им разрешено играть чужим оружием, особенно если оно принадлежит их могущественным друзьям, а также о тех, кто вместо серьезной политики чересчур много занимается пропагандой. Поэтому я никогда не требовал от американцев, даже из пропагандистских соображений, чтобы они снесли стену. Кеннеди сам подтвердил, что подобных советов он не получал ни от федерального правительства Германии, ни от бургомистра Берлина. Все заинтересованные стороны хотели исключить военную конфронтацию, а помимо этого не могли избежать ответа на вопрос: зачем и во имя какой цели следовало бы идти на подобный риск?

Юридически можно было бы легко это обосновать: из-за советского решения предоставить ГДР право распоряжаться Восточным Берлином возник правовой вакуум. В связи с этим на законном

* Спичрайтер — speech writer — человек, пишущий речи (англ.). — Ред.

основании (четырёхсторонний статус!) необходимо заполнить этот вакуум. На практике это означало бы военную оккупацию Восточного Берлина. По этому поводу я говорил: это, возможно, и логично, но отнюдь не практично. Вместо этого союзники могли бы предпринять энергичные политические шаги, которые сопровождались бы демонстрацией военной силы на границе секторов, и таким образом заставить Советы признать свою ответственность за Восточный Берлин. Абсурдная мысль? И тем не менее она отражала реальные интересы другой стороны. Ибо в советском руководстве большое значение придавали тому, чтобы их страна в качестве державы-победительницы могла и впредь пользоваться правами в «Германии в целом» и предъявлять их на «Германию в целом», а следовательно, и на весь Берлин. Видимо, Хрущёва и его команду можно было бы убедить в необходимости пересмотра вопроса о статусе.

Мир и ссоры, малые шаги и крупные перемены — все имеет свое время. По прошествии лет многое из того, что являлось предметом жарких споров и чего удавалось добиться, лишь преодолевая ожесточенное сопротивление, кажется простым и само собой разумеющимся. <...>

